

продвигал его и добился перевода на многие языки. Эта книга принесла мне больше сюрпризов, чем любая другая. Благодаря ей начала сбываться мечта, не оставлявшая меня с тех пор, как я бегал в коротких штанишках: стать в один прекрасный день писателем.

*Марио Варгас Льюса
Фушль, август 1997 года*

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

*Кин**: Мы играем героев, потому что мы трусы, святых — потому что нечестивцы; мы играем убийц, потому что страстно желаем убить ближнего и не можем; мы играем, потому что мы рожденные лжецы.

Жан-Поль Сартр

I

— Четыре, — сказал Ягуар.

Лица в неверном свете замызанной лампочки смягчились: опасность миновала всех, кроме Порфирио Кавы. Выпало три и один; кубики замерли, ярко белея на грязном полу.

— Четыре, — повторил Ягуар. — У кого?

— У меня, — пробурчал Кава. — Я четыре называл.

— Быстрее давай, — сказал Ягуар. — Второе слева, помнишь?

Каве стало зябко. Уборные находились в конце казарм, за хлипкой деревянной дверью, и окон в них не было. В предыдущие зимы холод прони-

* Эдмунд Кин (1787–1833) — английский актер, персонаж пьесы Александра Дюма-отца «Кин» (1838) и ее переложения, написанного в 1953 году Жан-Полем Сартром.

зывает только кадетские дортуары, просачивался сквозь щели и разбитые стекла, но эта зима выдалась кусачей, и в училище не оставалось места, не продуваемого ветром: ночами он добирался даже до уборных, выстуживал их, разгонял скопившуюся за день вонь. Кава родился и вырос в горах и к таким зимам был привычен, а похолодел от страха.

— Все уже? Можно спать идти? — спросил Удав: слишком долговязый, слишком громкий, сальные волосы топорщатся на макушке, крупная голова, мелкое личико, заспанные глаза. Рот открыт, к выступающей нижней губе прилипла табачная крошка. Ягуар повернулся к нему.

— Мне с часу на дежурство, — сказал Удав. — Я бы поспал чутка.

— Валите, — сказал Ягуар. — В пять разбужу.

Удав и Кучерявый вышли. Кто-то из двоих споткнулся в дверях и выругался.

— Сразу, как вернешься, меня разбудишь, — велел Ягуар. — Одна нога здесь, другая там. Скоро двенадцать.

— Да, — сказал Кава. Лицо его, обычно непроницаемое, выглядело утомленным. — Пойду оденусь.

Они вышли из уборных. В казарме было темно, но Кава и без света мог лавировать между рядами коек; он на память знал, как устроено вытянутое помещение с высоким потолком. Сейчас здесь царили тишина и спокойствие, время от времени нарушаемые всхрапами и бормотанием. Он дошел до своей койки, второй справа, нижней, в метре от входа. Нашаривая в шкафчике брюки, рубашку цвета хаки и ботинки, ощущал на лице табачное дыхание негра Вальяно, который спал на верхней койке. Два ряда больших белоснежных зубов поблескивали в темноте. Каве пришли на ум какие-то гры-

зуны. Тихо, медленно он стянул синюю фланелевую пижаму и оделся. Накинул суконную куртку. Осторожно, стараясь не скрипеть ботинками, вернулся к койке Ягуара на другом конце казармы, у уборных.

— Ягуар.

— На, держи.

Кава протянул руку, взял два холодных предмета, шершавый и гладкий. Фонарик спрятал в кулаке, напильник убрал в карман куртки.

— Кто сейчас дежурит? — спросил Кава.

— Мы с Поэтом.

— Как это?

— За меня Раб стоит.

— А в других взводах?

— Ссышь?

Кава не ответил. На цыпочках прокрался к выходу. Отвел одну дверную створку очень аккуратно, но она все равно заскрипела.

— Вор! — выкрикнул кто-то во мраке. — Мочи его, дежурный!

Кава не узнал голос. Выглянул: пустой двор слабо освещали круглые фонари над плацем, отделявшим казармы от поросшего травой пустыря. Туман размывал очертания трех бетонных зданий, где располагались казармы пятого курса*, и придавал им призрачный вид. Кава выскользнул за дверь. Прижался спиной к стене, постоял бездумно. Рассчитывать больше не на кого; Ягуар тоже вне досягаемости. Он позавидовал спящим кадетам, сержантам и даже солдатам, забывшимся тяжелым сном в наскоро выстро-

* Трехлетнее обучение в училище имени Леонсио Прадо соответствует второму циклу среднего образования в Перу (первый цикл состоит из двух лет). Поэтому кадеты первого года (псы) — третьекурсники, второго — четверокурсники, третьего — пятикурсники.

енном бараке по ту сторону стадиона. Понял, что, если сейчас же не начать действовать, страх скрутит по рукам и ногам. Прикинул расстояние: нужно перебежать двор и плац, потом темным пустырем обогнуть столовую, административный корпус, офицерское общежитие и преодолеть еще один двор, небольшой, зацементированный, упирающийся в учебный корпус, где можно будет выдохнуть — патрули туда не добираются. И той же дорогой обратно. Ему смутно хотелось утратить волю и воображение и повернуть план, как слепая машина. Целыми днями Кава отдавался рутине, всё решавшей за него, мягко толкавшей на действия, которых он почти не замечал. Но сегодня — другое дело: случилось то, что случилось, и в голове была необычайная ясность.

Он начал медленно перемещаться. Перебежать двор поперек не стал, а заложил крюк мимо изогнутой стены казарм пятого курса. Дойдя до края, с тоской устремил взгляд вперед: плац выглядел таинственным и нескончаемым в симметричном обрамлении круглых фонарей, под которыми вилась дымка. За освещенной полосой, в гуще теней угадывался поросший травой пустырь. Дежурные любили прилечь там вздремнуть или перекинуться парой слов, если не было холодно. Кава надеялся, что нынче ночью они заняты игрой где-нибудь в уборной. Он быстро пошел, стараясь держаться в тени зданий слева и не попадать в круги света. Шум прибоа гасил звук шагов — училище стояло прямо над морем, по другую сторону утесов. Дойдя до офицерского общежития, Кава встрепенулся и поднажал. Напрямки пересек плац и нырнул во мрак пустыря. Совсем рядом что-то вдруг пришло в движение, и страх, только-только начавший та-
ять, вонзился в тело, как нож. На миг Кава

замер: в метре от него мерцали, словно светлячки, мягкие, робкие глаза викуньи. «Пошла!» — в сердцах прошипел Кава. Викунья выказала безразличие. «Никогда, зараза, не спит, — подумал он. — И не жрет. Чего она никак не подохнет?» Пошел дальше. Два с половиной года назад, когда он приехал в Лиму заканчивать учебу, его удивило, что среди серых, изъеденных сыростью стен Военного училища имени Леонсио Прадо безмятежно бродит эта скотина, которая только в горах и живет. Кто, интересно, притащил сюда викунью? С каких таких Анд? Кадеты использовали ее как мишень в соревнованиях на меткость, но камни викунью будто бы совсем не беспокоили. Она медленно отходила подальше от бросавших; морда не выражала ровным счетом ничего. «На индейцев похожа», — подумал Кава. Он взбежал по лестнице к классам. Здесь можно греметь ботинками сколько угодно: кругом только скамейки, парты, ветер и тени. Скачками преодолел галерею на верхнем этаже. Остановился. Мертвенный луч фонарика высветил окно. «Второе стекло слева», — говорил Ягуар. В самом деле разболтано. Напильником убрал замазку из рамы, ссыпал в ладонь. Ладонь вспотела. Осторожно вынул стекло и поставил на пол. Ощупал деревянную раму, нашел щеколду. Окно распахнулось. Залез внутрь, поводит фонариком во все стороны. На столе рядом с миеографом лежали три стопки бумаги. Прочел на верхнем листе: «Промежуточный экзамен по химии. Пятый курс. Продолжительность: сорок минут». Отпечатаны только что, днем, — краска еще поблескивает. Он быстро переписал вопросы в блокнот, ни слова не понимая. Погасил фонарик, бросился обратно к окну. Подтянулся, прыгнул: стекло под ботинками разлетелось вдрызг

с оглушительным звоном. «Ё!» — взвыл он. Присел на корточки и в ужасе и ожидании затаился. Но до ушей не доносилось никакой суматохи, ни один офицер не орал, словно пуская изо рта пулеметную очередь; слышалось только прерывистое от страха дыхание. Выждал еще несколько секунд. Потом, забыв про фонарик, собрал, как мог, с плиточно-го пола осколки и спрятал в куртку. Наплевав на предосторожности, быстро вернулся в казарму. Хотелось поскорее забраться в постель, закрыть глаза. На пустыре выкинул осколки, порезался при этом. В дверях казармы встал, навалилась усталость. Из сумрака выступил силуэт.

— Достал? — спросил Ягуар.

— Да.

— Пошли в толчок.

Ягуар шел первым, дверь в уборную он толкнул обеими руками. В желтоватом свете Кава увидел, что он босой: ступни большие, белесые, с длинными грязными ногтями. Воняют.

— Я разбил стекло, — сказал Кава ровным голосом.

Руки Ягуара метнулись к нему, как два белых болида, намертво вцепились в лацканы куртки, смяли ее. Кава пошатнулся, но взгляда от глаз Ягуара, бешеных, сверлящих его из-под загнутых ресниц, не отвел.

— Сраный индеец, — медленно пробормотал Ягуар, — оно и видно, что индеец. Если нас накроют, я тебе обещаю...

Он так и держал его за грудки. Кава положил руки на его запястья. Попытался мягко развести их.

— Руки! — сказал Ягуар. Кава ощутил на лице невидимую морось. — Индеец!

10 Кава опустил руки.

— Во дворе никого не было, — прошептал он. — Меня никто не видел.

Ягуар выпустил его и впился зубами в свой правый кулак.

— Я тебе не стукач, Ягуар, — проговорил Кава. — Если накроют, все возьму на себя, и дело с концом.

Ягуар смерил его взглядом. Засмеялся.

— Дрейфлю индейское, — сказал он. — Обоссался со страху. На штаны свои посмотри.

Он позабыл дом на проспекте Салаверри, в Новой Магдалене, где жил с того самого вечера, как впервые приехал в Лиму, и восемнадцатичасовую дорогу на машине, круговерть селений в развалинах, песков, крохотных долин, временами маячившего моря, хлопковых полей, селений, песков. Он прижимался носом к окошку, и все тело зудело от волнения: «Я увижу Лиму». Иногда мама притягивала его к себе и шептала: «Ричи, Рикардито». А он думал: «Почему она плачет?» Другие пассажиры дремали или читали, а шофер весело напевал один и тот же мотивчик, час за часом. Рикардо просидел все утро, весь день и начало вечера, не отрывая взгляда от горизонта в ожидании, что огни города вспыхнут разом, будто начнется факельное шествие. Усталость понемногу сковывала руки и ноги, притупляла чувства; в полутьме он бормотал сквозь зубы: «Не засну, не засну». И вдруг кто-то ласково его треплет: «Скоро приедем, Рикардито, просыпайся». Он сидел на коленях у мамы, положив голову ей на плечо; было холодно. Родные губы коснулись его рта, и ему почудилось, что во сне он превратился в котенка. Автомобиль теперь катился медленно: неясно виднелись дома, фонари, деревья, проспект — длиннее, чем главная **11**

улица в Чиклайо. Он не сразу понял, что остальные пассажиры уже вышли. Шофер напевал не так бодро, как раньше. «Интересно, какой он?» — подумал Рикардо. И его снова охватило страшное нетерпение, как три дня назад, когда мама отозвала его в сторону, чтобы тетя Аделина не услышала, и сказала: «Твой папа не умер, тебе неправду говорили. Он вернулся из долгой-долгой поездки и ждет нас в Лиме». «Подъезжаем», — сказала мама. «Перспект Салаверри, если не ошибаюсь?» — промурлыкал шофер. «Да, дом тридцать восемь», — ответила мама. Он закрыл глаза и притворился, что спит. Мама поцеловала его. «Почему она меня в губы целует?» — гадал Рикардо. Правой рукой он крепко держался за сиденье. Машина, свернув несколько раз, наконец остановилась. Не открывая глаз, он съезжился в маминых объятиях. И вдруг почувствовал, как ее тело напряглось. «Беатрис», — произнес кто-то. Дверца распахнулась. Его подняли на руки, поставили на землю, отпустили. Он открыл глаза: какой-то мужчина и мама стояли в обнимку и целовались в губы. Шофер перестал напевать. На улице было пусто и тихо. Он пристально смотрел на них и, шевеля губами, беззвучно отсчитывал время. Мама отстранилась от незнакомца, повернулась и сказала: «Это твой папа, Ричи. Поцелуй его». Опять его подняли в воздух неведомые мужские руки; взрослое лицо придвинулось к его лицу, чужой голос проговорил его имя, сухие губы вдавились в щеку. Он одеревенел.

Он позабыл и остаток той ночи: холодные простыни на неприветливой постели, одиночество, которое старался разогнать, вглядываясь в темноту в надежде выхватить какой-нибудь предмет, какой-нибудь проблеск, и тоску,

вгрызавшуюся в душу, как усердное сверло. «Лисы в пустыне Сечура, когда наступает ночь, начинают выть, словно бесы. А знаешь почему? Потому что они до ужаса боятся тишины и хотят сами ее спугнуть», — сказала однажды тетя Аделина. Ему тоже хотелось кричать в этой комнате, где все было какое-то мертвое. Он встал; босой, полураздетый, дрожа от неловкости, — а что, если вдруг они войдут и застанут его неспящим? — подошел к двери и прижался ухом к деревянной створке. Ничего не услышал. Вернулся в постель и заплакал, зажимая рот обеими руками. Когда в комнату проник свет, а улица наполнилась шумом, он все еще лежал с открытыми глазами и вслушивался. Прошло много времени, прежде чем он их услышал. Говорили тихо, до него доносился только неясный гул. Потом смех, движения. Дверь отворилась, шаги, кто-то рядом, знакомые руки подтянули одеяло ему под подбородок, щеки коснулось теплое дыхание. «Доброе утро! — ласково сказала она. — Не поцелуешь маму?» «Нет», — ответил он.

«Я мог бы пойти и сказать: дай двадцать солей, прямо вижу, глаза у него заслезятся, и он даст сорок, а то и пятьдесят, но это все равно что сказать: я прощаю тебя за то, что ты сделал с мамой, шатайся по шлюхам и дальше, только мне карманных побольше отваливай». Под шерстяным шарфом, подаренным мамой пару месяцев назад, губы Альберто беззвучно шевелятся. Куртка и пилотка, натянутая до самых ушей, спасают от холода. Тело свыклось с винтовкой и почти не замечает ее. «Пойти и сказать ей, что толку, что мы ни гроша с него не берем, позволь ему каждый месяц присылать чек, пока не раскается в своих грехах и не вернется домой,